

**О «ПРЕДИСЛОВИИ» К ГОГОЛЕВСКОЙ ПОВЕСТИ  
О ДВУХ ИВАНАХ**

В первом выпуске гоголевского «Литературного архива» (1936) Н.Л. Степанов впервые опубликовал неизвестное авторское предисловие к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Оно сохранилось в составе уникального экземпляра «Миргорода» издания 1835 года, находившегося в библиотеке Академии Наук СССР, и не повторялось в других экземплярах. Отсутствовало оно и во всех последующих переизданиях сборника; «оно не только не включалось ни в одно из собраний сочинений, но и о самом существовании предисловия не упоминалось ни у кого из исследователей Гоголя».

Это «предисловие» состоит из четырех предложений:

*«Долгом почитаю предуведомить, что происшествие, описанное в этой повести, относится к очень давнему времени. Притом, оно совершенная выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла и все сановники: Судья, Подсудок и Городничий люди почтенные и благонамеренные»* [1; 5].

Н.Л. Степанов в обширном комментарии к публикации этого «предисловия» указал как на его «"щедринскую" обличительную направленность и социальную обобщенность», так и на «явно иронический характер»: «Якобы "благонамеренное" утверждение, что "теперь" "все сановники: судья, подсудок и городничий люди почтенные и благонамеренные", в соседстве с заявлением о том, что "лужа среди города давно уже высохла", не оставляет сомнений в <...> замаскированной полемике с цензурой, в намеках на какие-то нам неизвестные обвинения в "неблагонамеренности", которыми, вероятно, мотивировано было цензурное запрещение "некоторых мест" повести». Далее исследователь рассматривает цензурную историю первой публикации повести (во второй части альманаха «Новоселье» 1834 г.) и высказывает предположение, что цензор А.В. Никитенко изъял оттуда «некоторые места» – а приведенное выше «предисловие» скрытым образом выражало какое-то «возмущение» автора цензурой... [1; 22-24].

Но почему же тогда оно «присутствует» лишь в единственном уникальном экземпляре «Миргорода»? Между тем, в этом же экземпляре отсутствует заключение повести «Вий» – разговор богослова Халявы с Тиберием Горобцом об участии Хомы Брута, непосредственно

*предшествовавшее* повести о двух Иванах. В.А. Воропаев предпринял специальный «анализ типографских знаков различных экземпляров “Миргорода”» и объяснил появление этого предисловия, «в первую очередь, внешней, технической причиной – оставшимся незаполненным при наборе “лишним” листом. Между набранной прежде с печатного текста “Повестью...” и набиравшимся затем с рукописи “Вием” возник “пробел”, который Гоголь попытался заполнить сначала указанным предисловием, а затем написал окончание “Вия”» [2; 485].

Последнее предположение кажется более естественным и точным: приведенное «предисловие» к повести о двух Иванах было «вынужденным». Но в этом случае – возникшее в виде *предисловия* – сообщение о том, что «Миргород» нынче «совсем не тот», что выведен в повести, должно было нести важное *смысловое* значение, подобное тому, какое несет заключение «Вия». В этом заключении подводятся итог: герой повести «пропал оттого, что побоялся» – и этот итог позволяет представить в новом свете всё предшествующее. Что же такого могло «добавить» к смыслу повести о двух Иванах это «предисловие»?

Давно уже отмечено, что заглавие сборника «Миргород» не очень соотносится с его содержанием. Это заглавие вместе с двумя эпитафиями на титульном листе – из «Географии Зябловского» и «Из записок одного путешественника» – указывали на реально существующий «нарочито невеликий при реке Хороле город»: на Полтавщине, в тех самых местах, где прошло детство писателя. Между тем, собственно в Миргороде происходят только события интересующей нас «Повести о том, как поссорился...». События «Старосветских помещиков» разворачиваются где-то в «отдаленной деревне» – может быть, в Миргородском уезде, а может быть – и нет, а действие «Вия» и «Тараса Бульбы» происходит уже определенно не на Миргородщине.

Поэтому уже один из первых рецензентов П. Юркевич недоумевал, что Гоголь назвал «свою книгу, *не знаем почему*, именем уездного городка Полтавской губернии...» [3; 459]. А современный исследователь уточняет: «Если говорить о сборнике в целом, то события как бы смещаются в сторону от Миргорода, как они смещались в сторону от Диканьки в первом гоголевском сборнике. А между тем, и Диканька, и Миргород по степени своей наглядности и выразительности приближаются к топографическим символам. Но оба символа, оказывается, обозначают понятия, которые выходят за пределы географического пространства произведений» [4; 328].

Для недавних работ о Гоголе очень характерно это устремление к *символическому* истолкованию топоса «Миргород». Так, М. Вайскопф отметил, что в сочинениях Григория Сковороды название малорос-

сийского уездного города превращается в аллегорическое философское понятие, своего рода библейского «града Божия», куда должны вернуться души праведников. Согласно этимологии Сквороды (неверной по существу!), название «Миргород» – это перевод названия «Иерусалим», истолкованного как «город мира» [5; 213-216]. А поскольку сочинения Сквороды объявлены ныне одним из важнейших источников гоголевского творчества [6; 121-145], следовательно, какого-то иного «объяснения» названию гоголевского сборника искать нечего.

М.Н. Виролайнен в недавнем исследовании, посвященном сюжетам и мифам русской словесности, сочла нужным несколько уточнить это представление: «Гоголь <...> изображает *не небесный, а земной город*. Но остающийся за рамками изображения град небесный составляет второй, неясный план, как бы потенциальное второе измерение земного города» [7; 361]. Между тем, в приведенном выше «предисловии» Гоголь обеспокоен именно «земным» Миргородом. Более того, именно «земной» Миргород стал своеобразным знаком того, что последующие поколения назвали *гоголевщиной*. Вот характерное восприятие В.А. Гиляровского, который посетил Миргород через 90 лет после рождения Гоголя – в январе 1899 года:

«...я гулял по Миргороду и глубоко сожалел, что теперь зима и всё занесено снегом, и не видно даже знаменитой лужи <...> Мне тогда сказали миргородцы, что лужи этой больше не существует и что на месте ее разбит городской сквер, а что луж есть несколько и есть такие же большие, к великой радости гусей и свиней, может быть, идущих по прямой линии от той супоросной бурой свиньи, которая стащила и съела очень важную казенную бумагу из суда.

Видел я еще то, чего не было в доброе старое время: видел я казенную винную лавку, около которой стояла толпа миргородцев и пила из горлышка водку, закусывая снегом, а то и ничем, и запах от этой толпы напоминал мне тот момент в поветовом суде, когда Иван Никифорович со своей просьбой застрял в двери <...> Такой же запах был от толпы близ питейной лавки, находившейся в переулке, напоминавшем тот “переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они не могли уже разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, покамест схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону, на улицу”.

Таковым был Миргород зимой, Миргород, прославленный Гоголем, и весь этот край, где каждое место напоминало Гоголя – край, который смело можно назвать “Гоголевщиной”» [8; 383].

Эта «Гоголевщина» имела прямые географические ориентиры и во времена Гиляровского показательно представляла, например, в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. «Миргород –

уездный город Полтавской губернии, при реке Хорол, в 133 верстах от губернского города и 22 верстах от Харьковско-Николаевской железной дороги. При польском владычестве входил в состав Вишневецчины. После присоединения Малороссии был полковым городом Миргородского полка, а по упразднении гетманского управления причислен к Киевскому наместничеству, потом присоединен к Черниговскому наместничеству, в 1797 г. вошел в состав Малороссийской губернии, с 1802 г. уездный город Полтавской губернии. В 1864 г. жителей было 9841, к 1 января 1896 г. – 11087 (5985 мужчин и 5102 женщины). Православных 8967, раскольников 262, католиков 185, протестантов 48, евреев 1591, прочих исповеданий 34. Дворян 284, духовного сословия 45, почетных граждан и купцов 132, мещан 8265, военного сословия 593, крестьян 1695, прочих сословий 73. Домов в 1864 г. было 1166, в 1895 г. 1618 (каменных 19, деревянных 207, мазанок 1392), владений городских 1592, торговых помещений жилых 24, нежилых 79, складов, амбаров и т. п. 28, мелких промышленных заведений 20, мыловаренный завод 1, кузниц 16. Церквей 4, еврейская синагога 1, городское и приходское училища, промышленная школа имени Н.В. Гоголя; 5 ярмарок. Торговля весьма незначительна. Городских доходов в 1895 г. было 10200 руб., расходов 10148 руб., в том числе на городское управление 2230 руб., на народное образование 1350 руб., на врачебную часть 485 руб. Земская больница на 20 кроватей, 3 врача, 6 фельдшеров, 1 акушерка, 2 аптеки.

По сравнению с данными из «Географии Зябловского», приведенными Гоголем в эпиграфе к сборнику, уездный малороссийский город несколько увеличился и изменился, – не изменилась лишь его «мифология». В ее составе – те же опорные данности: «знаменитая лужа», «та самая бурая свинья», «такой же питейный запах», «тот же» узкий переулок... Она как будто «приросла» к географическому Миргороду, на всё дальнейшее время определила отношение к нему – его не изменили даже позднейшие открытия, что вода в «знаменитой луже» оказалась минеральной.

Как же должны были отнестись к подобным гоголевским описаниям жители реального Миргорода, волею судеб оказавшего столь несимпатично отображенным? Вот свидетельство, записанное тем же Гиляровским от одной из современниц Гоголя:

«Мать Гоголя, Марья Ивановна, приехала в Миргород по делу в поветовый суд, после того уже, как появился рассказ об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче. Миргородские чиновники были так злы на Гоголя, что Марье Ивановне не предложили сесть, и она простояла часа два, пока не получила нужную справку» [8; 396].

А вот что писал Гоголю о своем посещении Миргорода его ближайший приятель А.С. Данилевский; посещение это произошло в

1842 г., когда общество обсуждало новое произведение писателя – «Мертвые души»:

«Патриоты нашего края, питая к тебе непримиримую вражду, теперь благодарны уже за то, что ты пощадил Миргород. Я слышал между прочими мнение одного, который может быть оракулом этого класса господ, осыпавшего такими похвалами твои “Мертвые души”, что я сначала усомнился было в его искренности; но жестокая хула и негодование на твой “Миргород” помирили меня с нею. “Как! – говорил он, – миргородский уезд произвел до тридцати генералов, адмиралов, министров, путешественников вокруг света (черт знает, где он их взял!), проповедников (не шутка!), водевилста, который начал писать водевили, когда их не писали и в Париже”. Это относилось к Нарезному, как после объяснил он, и проч., и проч., и проч.; всех припомнить не могу! Да, ты лучше поймешь, когда я скажу, что твой ласкатель и противник не кто таковский, как Василий Яковлевич Ламиковский» [9; 71].

В.Я. Ламиковский (1777–1848) был ближайшим соседом Гоголей по имению и человеком очень незаурядным. Возле дедовского села Шафоростовка он устроил хутор с говорящим названием «Парк-Трудолюб»; поселился там и усердно занялся собиранием и изучением памятников родной старины. Одним из первых он начал собирать сведения по истории и этнографии Миргородчины, записывать украинские думы; составил весьма ценный «Словарь малорусской старины». «Никошу» Гоголя он знал с детства и относился к нему недоброжелательно и пристрастно [4; 129, 171-172].

Но дело не в «пристрастном» отношении. Те аргументы против нарисованного Гоголем образа «Миргорода», которые он приводил, были вовсе не бессмысленны. И если злость на писателей миргородских судейских чиновников объяснялась «личностью» – наших затронули! – то неприятие Ламиковского имело иные основания. Взгляд Гоголя на «географический» Миргород активно противостоял собственно «краеведческому» взгляду: ведь его оппонент (который, однако, с восторгом принял «Мертвые души»!) был краеведом Миргородчины, и в этом смысле очень достойным человеком!

Отправной точкой осмысления того края, в котором живешь, оказывается гордость тем, что считается *своим*. И, соответственно, естественное преувеличение истинных или мнимых исторических «заслуг» этого «своего» в масштабе целого государственного или национального единения. Для краеведа показателем, например, «подсчет» именитых земляков – «генералов, адмиралов, министров, путешественников вокруг света» и т.д. Краеведу очень важно указать, например, что Гоголь, описывая ярмарку, имел в виду ярмарку в

Яновщине: «Ее-то, говорят, Гоголь и описал и назвал ее “Сорочинской” потому, что Сорочинцы были известны во всей округе, а Яновщину в те времена и не знал никто. <...> Назови Гоголь ярмарку не Сорочинской, которая знаменита, а Яновщицкой – и тоже б подняли на смех». Так передает «краеведческие» рассуждения тот же Гиляровский, рассказывая еще, что даже аферу с мертвыми душами впервые придумали в гоголевских местах [8; 392, 399-400]. Даже не очень лестная с нравственной точки зрения информация вызывает «краеведческую» гордость, поскольку так или иначе, пусть даже «анекдотическим» образом, «возвышает» *своё*.

Гоголь же в описании Миргорода (в повести о двух Иванях) исходил из принципиально иной посылки. Как отметил Ю.М. Лотман, воссоздавая «физически осязаемое» пространство Миргорода, автор утверждал неразумность привычного «разделения» на «свое» и «не свое», столь значимого в «краеведческом» мировосприятии. Поэтому в этой повести «нет единого пространства»; поэтому Гоголь предлагает иной взгляд, чем, например, в «Вечерах...»: он «не открывает просторов, не расширяет горизонта, линия которого совмещается с границами двора». Словом, «Миргород, обуянный эгоизмом, *перестал быть пространством* – он распался на отдельные части и стал хаосом» [10; 640-643].

При подобном восприятии Миргорода как «пространства» топос Миргорода уже не мог быть воспринят как *своё*. Но и «символическим» топосом отнюдь не становился: для этого необходимо хотя бы условное «имя» – вроде щедринских Крутогорска, или Глупова, или пушкинского Горюхина. «Земной», реальный уездный Миргород, действительно расположенный «при реке Хороле», действительно имеющий «1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветровых мельниц» и действительно производящий вкусные «бублики из черного теста» – *никуда из текста не уходил*.

В художественном мире Гоголя «Миргород» возник еще в 1831 году – на первой странице «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В предисловии к первой части сборника пасичник Рудый Панько жалуется на трудности, связанные с появлением «какого-то пасичника» «в большом свете»: «Да что говорить! *Мне легче два раза в год съездить в Миргород*, в котором, вот уже пять лет, как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великой свет» (I; 103).

С обыденной «географической» точки зрения желание Рудого Панько «съездить» именно в Миргород кажется весьма странным. Он проживает «близ Диканьки», села, расположенного совсем не в Миргородском уезде, а в непосредственной близости от *губернской*

Полтавы. Жители Диканьки запросто в Полтаву наведываются: кузнец Вакула нарочно был вызван туда сотником, чтобы «выкрасить дощатый забор» (I; 203). А до Миргорода – полтораста верст пути, в другую сторону: зачем пасичнику туда ездить?

Единственно, чем может быть объяснено это желание: он хочет «повидаться» с названными тут же персонажами повести о двух Иванах – и, соответственно, повращаться в «великом свете»! Почему-то именно уездный Миргород, а не губернская Полтава становится в его глазах истинным «образцом» этого «большого света». Почему-то именно на «ассамблее» у миргородского городничего появляются и знакомые нам «рассказчики», блиставшие на вечерах у Рудого Панька – Фома Григорьевич и «полтавец» Макар Назарьевич (I; 196; II; 263). Каким-то образом топоним «Миргород» в сознании Гоголя оказался связан с топонимом «Диканька» *еще до появления* самого сборника «Миргород».

Если Диканька непосредственно противостоит Петербургу («А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого» – I, 106), то Миргород воплощает в себе сопоставление несколько другого плана – не просто «Петербург», а вообще «*великой свет*» в его «негеографической» перспективе. Обратим внимание на то, что Рудый Панько сокрушается не о том, что сам *он* не посещал представителей этого «великого света», а о том, что этот «свет» был лишен удовольствия видеть *его*: «вот уже пять лет, как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей». То есть именно пасичник с далекого хутора мог бы внести в этот «свет» нечто оживляющее.

Ю.М. Лотман отметил яркую деталь, показательную для художественного пространства в прозе Гоголя: у него «устойчиво представление об отраженном (перевернутом) пейзаже как образе простора: отражение, дополняющее небесный свод над головой его образом под ногами, снимает ограничительную поверхность, замыкающую пространство снизу и является <...> выражением пространственной модели безграничности» [10; 642]. В подтверждение этому наблюдению исследователь привел ряд примеров из «Вечеров...»: отражение «с середины Днепра» или в некоей «голубой, прекрасной бездне» (I; 114, 246).

Но в повести о двух Иванах «нижним» носителем этой «модели безграничности» оказывается «удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось видеть». Именно знаменитая *лужа* становится выражением «простора» в границах этого «великого света»: «Прекрасная лужа! Дома и домики, которые издали можно

принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее» (II; 244). И не «зеркало» любит отражением, а само искаженное «отражение» («домы» превратились в «копны сена») «дивятся» красоте этой самой «лужи»... Всё как будто смешалось в пределах этого пародического «света».

Обратимся с учетом сказанного к основным идеям, высказанным в приведенном «предисловии». В нем – серия весьма «лукавых» утверждений.

Оно начинается утверждением, «что происшествие, описанное в этой повести, *относится к очень давнему времени*». Но ведь само «происшествие» – ссора Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича – в повести *датировано*: в прошении Ивана Ивановича указано, что «смертельная обида» была ему учинена *«сего 1810 года июля 7 дня»* (II; 248). С момента «происшествия» до времени написания повести прошло 23 года. Причем, надо указать, что поставленная дата отнюдь не произвольна: в повести довольно много указаний на то, что ее действие относится именно к этому времени. Так, непосредственно перед ссорой Иван Иванович рассказывает соседу, «что три короля объявили войну царю нашему» и что они «хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру» (II; 236). Г.А. Гуковский характеризует это сообщение как «идиотский разговор двух обывателей» [11; 153], – но оно имеет под собой реальную основу. Еще в декабре 1806 г. возобновился русско-турецкий конфликт (после занятия русскими войсками придунайских княжеств); в августе 1807 г. было заключено перемирие – но к концу 1809 г. война с Турцией возобновилась и продолжалась вплоть до 1811-1812 гг., до победы русских войск под Русуком и Бухарестского мирного договора. Даже «три короля» упомянуты не просто так: в эти же годы происходили русско-французская и русско-шведская кампании, а летом 1809 г. Россия еще формально участвовала в войне с Австрией. А у городничего левая нога была «прострелена в последней кампании». Из его рассказов выясняется, что это была «кампания тысяча восемьсот седьмого года» (подвиг городничего на которой заключался в том, что он «перелез через забор к одной хорошенькой немке» – II; 256).

Итак, «происшествие», совершившееся 23 года назад (при жизни самого Гоголя), маркировано как относящееся к «очень давнему времени». Между тем, событие, ставшее основой повести «Ночь перед рождеством» (единственной из цикла «Вечеров...» повести, действие которой происходит в Диканьке) тоже довольно легко «датируется» по косвенным признакам: кузнец Вакула приобрел царицыны черевички в рождественскую ночь 1774 года. Таких признаков множество: в разговоре с царицей запорожцы вспоминают события завоевания Крыма



летом 1774 г. (а с августа 1775 г. сама Запорожская Сечь перестала существовать); активно действует «куда тебе царь» Г.А. Потемкин, пик «романа» которого с императрицей пришелся на 1774-1775 гг. (даже состоялось тайное венчание); представлен успех комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир» (1770) и т.п.

Но автор повествует о действии «Ночи перед Рождеством» как о сравнительно «*недавнем*», между тем, как от времени действия до времени написания прошло, по меньшей мере, 55 лет – времена молодости «дедов».

Почему-то для топоса Диканьки важно, что происходящее почти *современно* рассказчику, а для топоса Миргорода необходимо «очень давнее время»? Тем более, что следующая фраза предисловия дезавуирует и это «время действия»: «*оно совершенная выдумка*». Не всё ли равно, к какому времени относится «выдумка»?

Следующая посылка предисловия на фоне этой «выдумки» выглядят как будто вполне бессмысленной: «*Теперь Миргород совсем не то. Строения другие; лужа среди города давно уже высохла...*». «Строения» – это те самые «домы и домики, которые издали можно принять за копны сена», а «удивительная лужа» представлена в рассказе важной достопримечательностью, отличающей уездный Миргород от других подобных городков. Хорошо это или плохо, что «строения другие», а «лужа высохла»? Кажется, что скорее плохо, чем хорошо.

И, наконец – «*все сановники: Судья, Подсудок и Городничий люди почтенные и благонамеренные*». Но названные три «сановника» и в самом рассказе наделены разве что яркими человеческими недочетами, вполне «извинительными» (вроде специфической походки городничего или находящейся «под самым носом» верхней губы «почтенного судьи»). Если что и является предметом гоголевской сатиры в этой повести, то это уж никак не «неблагонамеренность» городских чиновников...

Серия лукавых утверждений гоголевского «предисловия» непонятна в своей целенаправленности: они ничего не уточняют и ничего не объясняют. И от чьего «лица» выступает в данном случае автор «Миргорода»? – очень уж непохож стиль этого «предисловия» на слог всего последующего рассказа о соре двух Иванов.

3 декабря 1833 г. Пушкин отметил в дневнике: «Вчера Гоголь читал мне сказку, *Как Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф.*, – очень оригинально и очень смешно» (XII; 316). В этой записи наиболее интересно пушкинское определение жанра гоголевской повести о двух Иванях – «сказка». Это определение явно ориентирует на оригинальную «сказовую» манеру гоголевского повествования. Примечательно, что

сам Гоголь давал такое же жанровое определение той истории из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», которую собирался поместить в сборнике сам рассказчик Рудый Панько: «Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел бы это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал» (I; 197; предисловие ко второй части «Вечеров...»).

Гоголь читал Пушкину свою «сказку», вероятно, еще прежде ее окончательной отделки, собираясь отдать ее А.Ф. Смирдину для второго выпуска альманаха «Новоселье», в котором она и появилась (вместе с пушкинским «Анжелом») весной 1834 г. При этом он как будто стремился представить ее как напечатанную «особо» обещанную «сказку» Рудого Панька.

Гоголь («Рудой Панько») в этот период представал в глазах читающей публики известным и много обещающим «комическим» писателем – и пользовался спросом. Земляк и друг его М.А. Максимович собирал в конце 1833 г. в Москве материалы для третьего выпуска альманаха «Денница» и просил что-нибудь новое от Гоголя. У Гоголя к этому времени для Максимовича ничего не было, но обидеть приятеля отказом он не хотел. Повесть о двух Иванах должна была явиться в другом альманахе – и автор предварял это будущее появление весьма оригинально:

«Я чертовски досаую на себя за то, что ничего не имею, чтобы прислать в вашу Денницу. У меня есть сто разных начал и ни одной повести, и ни одного даже отрывка полного, годного для альманаха. Смирдин из других уже рук достал *одну мою старинную повесть, о которой я совсем позабыл и которую я стыжусь назвать своею*; впрочем, она так велика и неуклюжа, что никак не годится в ваш альманах» (письмо от 9 ноября 1833; X, 283; курсив мой – В.К.).

О том же Гоголь чуть раньше сообщал в письме к М.П. Погодину: «Извини меня перед Максимовичем, что я не могу ничего дать ему, у меня ничего нет, ничего совершенно для альманаха <...>. Где-то Смирдин выкопал одну повесть мою и то в чужих руках, *писанную за Царя Гороха. Я даже не глядел на нее*, впрочем, она не годится для альманаха на 1834 год, я отдал ее ему» (письмо от 28 сентября 1833; X; 278; курсив мой – В.К.).

Естественно, Гоголь лукавит: из каких еще «других рук» мог издатель получить его новую повесть? Впрочем, ему почему-то важно представить повесть о двух Иванах, написанную не ранее лета 1833 г., как свое «старинное», еще времен «Царя Гороха», «позабывтое» произведение. Не случайно же в альманахе «Новоселье» повесть была напечатана с датой «1831 г.», за подписью «Рудый-Панько», да еще и с

подзаголовком «Одна из неизданных былей пасичника Рудого Панька». В этом подзаголовке (принадлежащем скорее всего самому Гоголю) произведение обозначено уже не как «сказка», а как «быль».

В сборнике «Миргород», как мы знаем, «Рудый Панько» отсутствует. Но – почему, если второй сборник писателя включал в себя «повести, служащие *продолжением*» первого? Значит, и они тоже были рассказаны на «вечерницах» у хлебосольного пасичника? Этот «Рудый Панько» стал очень удачной литературной маской: под этой «маской» Гоголь, например, фигурировал в начале 1834 г. на обложке самого популярного русского журнала «Библиотека для чтения» – в компании лучших русских литераторов и ученых. И в «Новоселье» Гоголь пришел именно как «Рудый Панько» – своеобразный символ стабильности и устойчивости провинциального малорусского бытия.

Хутор Рудого Панька вносил в повествование атмосферу осознанной «домашности», уюта. Сам «издатель» повестей выступал и их первым «слушателем» – и, соответственно, в роли «хозяина» всего действия и «пастыря», мог выступать и в роли «цензора»: отсекал, например, «такие страшные истории, что волосы ходили на голове» [I; 106] или вразумлял «занесшегося» Макара Назаровича [I; 196]. А кому ж в Миргороде «вразумлять»?

Миргород представляет совсем другой тип рассказчика, явленный как раз в интересующем нас «предисловии». Этот рассказчик не только стилистически противостоит Рудому Паньку, но и по характеру своему далек от роли «хозяина». Он совсем не уверен в значительности и достоверности той «выдуманной были», которую выносит на суд «большого света». Поэтому он смиренно просит у «света» принять во внимание и «очень давнее время», в которое произошло это происшествие, которое притом «совершенная выдумка». И то обстоятельство, что «Миргород совсем не то», что представлено в повести. И, наконец, подчеркивает, что все власть имущие – «люди почтенные и благонамеренные». Рассказчик как будто смиряется и склоняется перед будущими «недовольными», чего никогда не стал бы делать Рудый Панько.

С легкой руки Андрея Белого в гоголеведении принялось сопоставление двух произведений из сборника «Миргород»: «Тараса Бульбы» и повести о двух Иванах. В них сопоставлены героический уклад прошлой жизни и пошлый, ничтожный уклад современного бытия – «конец напевного “вчера” с началом непевучего “сегодня”». Ведь те старинные вещи, которые «тощая баба» проветривает из сундука Ивана Никифоровича («синий казацкий бешмет», «старинное седло», огромные «шаровары» и злополучное ружье) – это обиходные предметы быта «исторического Тараса, как знать, не прадеда ли

Довгочхуна» [12; 17-18]. Соответственно этой аналогии идет и антиномия: «...если в Сечи – свобода, равенство и братство, то в Миргороде Довгочхуна – “поклонничество”, гнусное царство бюрократии, кляузы суда, общество, деленное условными различиями мелких социальных делений <...>. Здесь не только не равенство, но на первом плане ерунда сословных предрассудков, так как очень важно (для Иванов!) то, что Иван Иванович – из духовного звания, а Иван Никифорович гордится исконным дворянством» [11; 163].

И сколь бы «давно» ни произошло событие ссоры двух Иванов, на нем остается налет тех данностей условного «света», которые в ходу именно сейчас, в настоящий момент времени, которые снимают с эпохи всякий налет поэтичности – каким бы «поэтическим» слогом ни расписывал эту «сказку-быль» восторженный повествователь.

Именно это создает эффект конечного превращения «*эпического вулкана*», представленного в «Гарасе Бульбе», в «*повесть о том, как бесславно дотлевают эпические страсти*», – так охарактеризовал повесть о двух Иванах современный украинский исследователь [13; 84]. Именно к этому эффекту и апеллировало исключенное автором «предисловие», прямо направленное на образ того «света», в котором – «скудно, господа»...

### ***Литература и примечания:***

1. Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. Под ред. В.В. Гиппиуса. – Вып.1. – М.-Л., 1936.
2. См. комментарии в изд.: Гоголь Н.В. Собр. соч. в 9-ти тт. – М., 1994. – Т.1-2.
3. Северная пчела. – 1835. – № 115.
4. Манн Ю.В. Гоголь. Труды и дни: 1809-1845. – М., 2004.
5. Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Мифология. Идеология. Контекст. – М., 1993.
6. См.: Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. – СПб., 1997.
7. Виролайнен М.Н. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. – СПб., 2003.
8. Гиляровский В.А. По следам Гоголя // Гиляровский В.А. Избранное в 3-х тт. – М., 1961. – Т.2.
9. Переписка Н.В. Гоголя в 2-х тт. – М., 1988. – Т.1.
10. Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования. – СПб., 1997.
11. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М.-Л., 1959.
12. Белый А. Мастерство Гоголя. – М.-Л., 1934.
13. Скуратовский В. «На пороге как бы двойного бытия» (Из наблюдений над мирами Гоголя) // Гоголеведческие студии. Вып. 2. – Нежин, 1997.

### **Анотація**

*У статті аналізуються зміст та роль передмови М. Гоголя до «Повісті про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем», а також розкриваються особливості художньо-історичного мислення письменника.*

### **Аннотация**

*В статье анализируются содержание и роль предисловия Н. Гоголя к «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», а также раскрываются особенности художественно-исторического мышления писателя.*

### **Summary**

*The article explores contents and functions of Gogol's Introduction to «The story of quarrel between Ivan Ivanovich and Ivan Nikiphorovich», and also reveals peculiarities of writer's historical views.*

**Абрамович С.Д. (Черновцы)**

## **МОТИВ НАРКОТИЧЕСКОГО ТРАНСА У ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ РОМАНТИЧЕСКОГО КУЛЬТА ФАНТАЗИИ**

В «Невском проспекте» влюбившийся в уличную женщину художник Пискарев, который надрывно переживает расхождение своей грезы и реальной жизни, ищет забвения в опиуме, купленном у иранского купца, и эта ситуация уже привлекала внимание исследователей как нетривиальная и тревожащая.

Еще в 1-й пол. XX ст. В.В. Виноградов и М.П. Алексеев показали, что Гоголь использовал в «Невском проспекте» картины наркотического наваждения, развернутые в книге Т. де Квинси «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» (1821) – бестселлере гоголевской эпохи, герой которой, нищий молодой человек с лондонской улицы, все глубже погружается в бездну наркомании [1].

Этот тезис активно разворачивает сегодня Марина Кудимова в книге «Голод-Гоголь», глава из которой «Гоголь и опиум» была недавно опубликована в Интернете ([www.poezia.ru/person.php?Sid=31-51k](http://www.poezia.ru/person.php?Sid=31-51k)). Следуя М.П. Алексееву, она приводит убедительные доказательства того, что Гоголь хорошо знал упомянутую книгу Т. де Квинси и что описания опиумных грез [2] отразились на структуре гоголевского художественного образа мира – как в «Невском проспекте», так и в более ранних «Арабесках» (1835). Но это лишь